

В этом году исполняется сто лет со дня рождения карагандинского писателя Н. А. Пичугина (1890-1978). В начале войны Николай Алексеевич был эвакуирован в Казахстан из Харькова. Здесь он выбрал для себя главной темой тему жизни и труда горняков, которой был верен до последних лет своих. Даже лишившись зрения, Н. А. Пичугин не прекращал работы над книгами о первостроителях Караганды. Он создал о них немало очерков, пьес, романов, повестей. «Карагандинские очерки», «С. С. Макаров — строитель горного комбайна», роман



«Зори над городом» — далеко не полный перечень работ, в которых Н. А. Пичугин отразил жизнь шахтеров военной и послевоенной Караганды. В прошлом году исполком Карагандинского городского Совета народных депутатов принял решение о переименовании ул. Тепловозной в улицу имени Пичугина. Однако до сих пор таблички на домах улицы еще не свидетельствуют об этой перемене. Не пора ли городским властям претворить, наконец свое решение в жизнь? Барельефный портрет Н. А. Пичугина — работа скульптора Ю. В. Гуммеля.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПЕРЕЖИТОМУ

Николай Алексеевич Пичугин принадлежал к поколению, чья молодость совпала с годами революции и гражданской войны, чье мировоззрение формировалось в ленинскую эпоху. Студент-юрист, он осознанно принял Октябрь, сражался за него не только по воле классового чувства, но, главным образом, по зрелому убеждению в необходимости коренного социального преобразования России. Любивший пристрастно и глубоко Родину. Н. Пичугин стал свидетелем позорного поражения царизма в русско-японской войне, а потом и в первой мировой.

Выбрав революционный путь борьбы с самодержавием за освобождение народа, Пичугин пошел за большевиками, чьи цели и идеалы были ему ближе всего. Два непререкаемых авторитета существовали для Николая Алексеевича на протяжении всей его жизни: Ленин и Толстой. Ленин был для него воплощением веры в достижение социальной справедливости. Толстой — носителем и выразителем правды во всей ее полноте и искренности. В записях Николая Алексеевича о Толстом сказано: «Ни перед кем и ни перед чем не опускался его взор. Никому не служил он — ни богу, ни царю, — кроме правды в себе, в своем ощущении. И художник, рожденный этим духом, с юности и до смерти своей следовал одному направлению: «Истинный герой моих произведений — правда, правда и только правда!»

Независимо утверждаемая справедливость и была стихией, пафосом его жизни».

Приверженный этим мыслям, Н. Пичугин в своей работе стремился приблизиться к воплощению правды. Он не видел смысла в творчестве, если не мог свободно, правдиво выразить созревшие мысли, подлинные чувства.

«Счастлив человек, то есть душевно удовлетворен, когда бывает самим собой. Несчастлив — когда угнетен. Угнетенный мечтает о свободе, ненавидит угнетателя», — замечает он в набросках к своей биографии.

«Быть самим собой!», — эту заповедь Н. Пичугин твердил как заклинание судьбе, пронес сквозь всю свою долгую жизнь. Любил вспоминать детские годы, молодость, потому что тогда ничто не мешало ему быть цельным, открытым, настоящим. Так жить и творить ему довелось только до кончины Ильича. Но и при нем после X съезда партии тяжелые предчувствия уже мучали Николая Алексеевича: пока жив Ильич, диктат власти не страшен, а после него?..

В конце двадцатых годов самые «страшные» предположения сбывались: власть перешла к рукам Великий инквизитор. А в тридцатых было планомерно истреблено именно то поколение, которое беззаветно сжигало себя в пламени революции и гражданской войны.

Друзья и ровесники Николая Алексеевича — лектор партийных курсов Дмитрий Брагин, украинский писатель Микола

Хвильевый, партийный и государственный деятель Абхазии Николай Акиртава, как тысячи и тысячи других, стали жертвами чудовищных репрессий.

В 1966 году, диктуя мне (к тому времени писатель совершенно ослеп) страницы своей повести «Никогда не расстанусь...», Николай Алексеевич иногда надолго замолкал, уходя мыслями в далекое прошлое, видя внутренним зрением своих загубленных друзей.

В эпоху застоя Пичугин не мог надеяться на опубликование горькой правды — цензура не пропускала, изымала все, что касалось кровавого террора тридцатых. Оттого и остались недосказанными, без их трагического финала, судьбы этих героев повести. Со мной поделился Николай Алексеевич своей давней болью находясь в тюрьме, Дмитрий Брагин выцарапал на груди (не то гвоздем, не то стеклом) — СТАЛИН. Но и это доказательство верности вождю не помогло. Он был расстрелян. «Вина» Дмитрия Брагина состояла в том, что ему необходимо было выяснить, как поступить с имеющимися у него работами Троцкого, Бухарина и других видных, но уже ошеломленных сталинской кликой деятелей партии. Как лектор он пришел за разъяснением в райком. За этим посещением последовал незамедлительный арест.

О замечательном украинском писателе Миколе Хвильевом мне впервые рассказал Николай Алексеевич, который вернул его из небытия еще в

1967 году в документальной повести «Никогда не расстанусь...», но... под фамилией Гаевой.

Седьмой номер «Дружбы народов» за 1988 год опубликовал «Повесть о санаторной зоне» М. Хвильевого. Вот когда только смогла я познакомиться с другом Николая Алексеевича как с писателем, увидела его фотографию и поразила точности словесного портрета, данного в повести «Никогда не расстанусь...» Хвильевому-Гаевому: «Он сам похож на гузула: черные волосы, крылатые брови, дерзко вздернутый нос и широкий пояс на синей сатиновой рубашке. Ничего военного в облике, в легкой походке».

В 1919 году в редакции газеты «Красная конница» родилась дружба двух молодых журналистов. Она продолжалась в Харькове до трагического конца Хвильевого. Николай Алексеевич вспоминал, как пытался уберечь друга, предупреждал его о выводах, которые сделают «наверху», истолковал призывы Хвильевого к развитию самостоятельной, оригинальной украинской литературы как проявление национализма. Но никакие благоразумные доводы не могли охладить неукротимый, воинствующий нрав Микола Хвильевого, острого публициста 20-х годов. Тучи над ним сгустились. В 1933 году в предчувствии ареста Микола Хвильевый застрелился.

На семьдесят седьмом году жизни Н. Пичугин писал о Хвильевом-Гаевом с такой душевной

теплотой, так зримо, словно вчера только они горячо обсуждали и поэзию Есенина, и будущую революцию.

В киевском журнале «Радуга» (1967 г., № 6) под заглавием «Звезда пылает недаром!» с предисловием Петра Панча появилась сокращенная публикация повести «Никогда не расстанусь...». Думается, не могли не узнать в молодом журналисте будущего видного писателя Микола Хвильевого маститые литераторы Украины, тем более, что Николай Алексеевич привел в своих мемуарах широко известные эпизоды романтического, революционного прошлого своего друга. Однако Петр Панч ни словом не обмолвился по этому поводу, хотя писал нам регулярно, особенно последнее десятилетие своей жизни. Давнее «табу» лежало на имени Хвильевого, словно каменная глыба завалила память о нем.

Только сейчас стало возможным вернуть герою повести «Никогда не расстанусь...» Гаевому его подлинное имя: Микола Хвильевый.

В начале марта 1978 года, буквально через месяц после кончины Николая Алексеевича, я переступила порог Абхазского государственного музея в Сухуми. Осмотрев зал экспозиций первых лет советской власти в Абхазии, я с недоумением обратилась к дежурной — сидевшей у входа пожилой женщине:

— Почему нет на стендах среди революционных деятелей Николая Акиртавы?

Мне объяснили, что все материалы о нем велено было снять, «а вот только вчера еще они были на месте».

— Как снять?! Почему?

На втором этаже, в кабинете научных сотрудников музея, я узнала о том, что пришло разъяснение по поводу половинчатой реабилитации Н. Акиртавы: он реабилитирован только как государственный, но не партийный деятель. Чтоб «не дразнить гусей», велено было вообще убрать материалы об Акиртаве из экспозиции.

— Возмутительно! Такая санкция по отношению к памяти верного ленинца, героя революции!

Сотрудники музея, печально улыбаясь, выслушали мои гневные восклицания. Но когда я рассказала о повести Н. Пичугина, где показана безграничная преданность их земляка делу Ленина, партии, они, всерьез заинтересованные, попросили непременно прислать им книгу. Мы обменялись адресами, и тут я осмелилась попросить фотографию Акиртавы.

Ф. ПИЧУГИНА.

(Окончание следует).

(Окончание. Начало в № 3.)

Мне был вручен довольно крупного формата фотопортрет. С понятным волнением всматривалась я в черты друга далекой молодости Николая Алексеича: на меня сквозь старинные круглые очки смотрело прекрасное, тонкое и одновременно мужественное лицо военного в простой гимнастерке с перекинутым через плечо ремнем. Так вот он какой — Николай Акиртава — проводник Н. Пичугина (и не его одного) «среди развалин рухнувшего мира!» Воображаемый образ материализовался. Возмущение, вызванное начальственной санкцией, слилось с живой болью за этого незаурядного, чистого в поступках и помыслах человека — ни в чем неповинной жертвы репрессий 30-х годов: Акиртава был расстрелян в бериевских застенках.

Всю жизнь не переставала терзать Николая Алексеича горечь потерь, насильственная смерть его друзей. Он воскресил память о них в повести, не случайно назвав ее — «Никогда не расстанусь...». Писатель определил на семнадцать лет официальную реабилитацию Акиртавы, состоявшуюся только в 1984 году, о чем сообщил мне директор Абхазского государственного музея Александр Миктавович Тария. Он писал: «Имя этого замечательного человека, пламенного революционера, сделавшего много не только для нашей республики, но и для всего Союза, не должно было исчезнуть бесследно. Но мир не без добрых людей. Одним из таких оказался Ваш супруг, который так трогательно описал их дружбу с Николаем Акиртавой... Я, да все мы, земляки Николая, безгранично благодарны Николаю Алексеичу за его теплые, искренние слова в адрес Н. Акиртавы. Мы будем хранить память о нашем земляке Николае Акиртаве и рядом с ним Николаем Алексеичем».

Таким был отклик на посланную мною в Государственный музей Абхазии повесть «Никогда не расстанусь...». Он пришел уже спустя шесть лет после смерти ее автора.

Но связь времен не прерывается: завещанное нам слово правды сейчас звучит во всеуслышание. Поблагодарим же новое время, позволившее наконец исполнить долг нашей совести.

Пытаясь осмыслить немалый путь, пройденный Н. А. Пичугиным, янее всего вижу его начало: юношеский пир воображения, неутомимая деятельность, счастье сопричастности к великим событиям. Тогда ему казалось естественным, что приобщение к художественному слову начинается со стихов. В позднем же возрасте Пичугин снисходительно замечает о своих первых поэти-

ческих опытах: «Я грешил стихами, в которых пытался слить лирическую и гражданскую тему».

Стихи... Они высвечивают большаки и повороты, тупики и ухабы, по которым вела Пичугина его судьба. Именно в стихах пытался он впервые выразить свое видение мира в годы небывалых перемен:

**Дымное пламя костра,
Бронзовый торс матроса.
Здесь жизнь, дорогая, остра—
Вчера чуть не лег**



**под откосом.
(«Письмо», 1919 г.)**

Подлинным гимном новой жизни звучат заключительные строки стихотворения «Девятнадцатый год»:

**Киев мой! Над тобой, точно
знамя, заря!
Радуюсь жизни, горячей
и дерзкой,
Канонаде, громящей главы
монастыря,
Солнцу, встающему
из-за Днепра,
И любви, что, как солнце,
встает над Печерском!**

После смерти Ленина тональность стихов меняется совершенно: вместо ликования в них слышатся отзвуки душевной тоски в пору горько сознаваемых страшных перемен — установления власти деспота.

Николай Алексеич обращается к истории, к трагической теме Игорева похода:

**Перекинулись трубы кликом
журавлиным,
Взлетала пыль из-под копыт
коней.**

**Потом застлало солнце
горьким дымом,
И плач встречал рассвет
печальных дней...
(«Путивль», 1928 г.)**

И все меньше своих стихов, все больше переводов — из Бодлера, Гейне, Франсиса Жамма — на украинский язык, который наряду с русским был родным языком Н. Пичугина. Тогда же начата большая вещь в прозе — роман «Шлях» о Тарасе Шевченко, певце угнетенных. Почти все, что писалось в тридцатые годы, было или поиском аналогов своего со-

стояния в далеком прошлом, или уходом в экзотическую тематику, к примеру, оставшаяся неоконченной повесть о жизни Миклухо Маклая на Новой Гвинее.

Резкие смены курсов, требований, вкусовщина редакторов, все мыслимые и немыслимые узы и запреты мешали творческому самовыражению писателя. Даже дневники тех лет свидетельствуют о внутренней зажатости, невозможности сказать правду хотя бы самому

«Шуркино дело», главная идея которой по его определению: «Власть страха уходит, когда человек свободен и прав. Пьеса о том, как уродует людей несвобода».

Откровенный язык драмы, стремящейся донести до зрителя правду о судьбе юной горнячки, чуть не попавшей в жернов бюрократического бездушия, пришелся не ко двору, окзался не по погоде к концу «оттепели». С 1959 года начинается изнурительная борьба Н. Пи-

ло», потому что женщин вывели из шахт, выводят, собственно».

Тяжело переживал Николай Алексеич крушение своих надежд: «Настроение плохое. Сон скверный. Ночью бессоница с образами травли и ненависти». Эти дневниковые строки звучат исповедально: страх возможного преследования жил в нем не только во времена репрессий. Страх возвращался в душу в минуты столкновения с непробивной стеной бюрократизма. С этим страхом, подняв забрало, он вышел на борьбу в пьесе «Шуркино дело».

Незадолго до кончины Николай Алексеич чуть слышно бредил: «Я знаю, где нахожусь... Ты скрываешь от меня...». Ему мерещились окопы, тюрьма. Тяжкая участь, выпавшая на долю друзей его молодости, стала навязчивой идеей тускнеющего сознания больного. Так завершилась трагедия духа одного из последних представителей поколения «ленинской гвардии», почти начисто истребленного кровавой деспотией.

Лишь спустя год после смерти моего Друга и Учителя я решилась прикоснуться к тетрадям с записями, которые он вел до окончательной потери зрения. Открыла дневники, как дверь из темноты... Яркий свет незаметных мыслей, острых наблюдений, независимых суждений хлынул на меня со страниц, исписанных стремительным, часто страшно неразборчивым почерком. В глубоких философских и искусствоведческих эссе, в заметках о человеке, литературе, религии сказались подлинный, свободный от всякой подчиненности публицистический дар писателя-эрудита, мыслителя.

В записях после XX съезда его пронизательная мысль всеохватно анализирует негативные стороны бюрократической системы, причины низкой производительности труда, обличает преступное равнодушие к духовной жизни народа.

Страницы дневника пятидесятых годов хранят размышления о необходимости введения аренды, сокращения чиновничьего аппарата, отмены многих отживших институтов бюрократического общества.

И тогда, и позже при жизни Н. Пичугина эти мысли и предложения не были востребованы временем.

Сегодня «Запретные мысли» встанут по праву в ряд самых передовых идей и помыслов, которые вдохновляют борцов перестройки. Немаловажно для доброй памяти о писателе и то обстоятельство, что дневниковые записи, выйдя наконец из зоны молчания, восполнят ту невысказанность, недоговоренность, на которую он был обречен в своих прижизненных публикациях.

Ф. ПИЧУГИНА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПЕРЕЖИТОМУ

себе. Их страницы сохранили следы работы ножниц — вырезаны, видимо, самые «крамольные» записи.

Только с началом Великой Отечественной войны, с переездом в 1941 году в Караганду в писателе снова пробудился дух воителя, борца. Все свои душевные силы Н. Пичугин отдавал людям самой тяжелой профессии — горнякам.

«Шахтерский труд. Не романтика — это ложь! — А тягота и примитивизм», — так трезво оценил он состояние и методы горнодобычной промышленности Караганды тех лет. Оценил для себя, в дневнике.

Чтобы поправить положение, способствовать внедрению нового в технику добычи угля, и тем самым облегчить тяжкий труд горняков, Пичугин принял решение: «...сейчас необходимо писать о вооружении шахтера механизмами, автоматами, современной техникой». Этому решению он верно следовал почти десять лет. В те годы его статьи о проблемах и достижениях шахтеров Караганды часто появлялись в прессе Казахстана и Украины. Став первопроходцем в освоении темы шахтерского труда в Караганде, Пичугин воплощал ее в очерковом, художественно-повествовательном и драматургическом жанрах.

В 1958 году он сделал попытку выйти через эту тему к постановке еще недавно запретных проблем. Ему казалось, что после XX съезда стало возможным сказать о самом болезненном. Пичугин создает социальную-психологическую драму

чугина за постановку пьесы в Карагандинском драмтеатре.

Не церемонился тогда с авторскими рукописями и цензура: «Я просмотрел журнал («Простор»). От моей пьесы — рожки да ножки. Сократили, сгладили, сняли характерные детали, выбросили сильную концовку третьего акта и скругзили финал. Предел, самоуправства. С автором обращаются, как с дохлой собакой: делают чуело... и показать кому-нибудь стыдно при моей омололости душевной».

И все же пьеса «Шуркино дело» была трижды опубликована, в том числе в сборнике «Твои огни, Караганда» (в полном объеме), высоко оценена критикой. Однако прозвучать со сценических подмостков ей так и не удалось. В дневнике писатель приводит упреки в свой адрес со стороны карагандинского начальства: «Отрицательный пример из жизни нашего бассейна. Почему не хвалите?». Цитируя стихи Л. Мартынова о дистиллированной воде, Николай Алексеич далее пишет: «Наши руководители хотя и именно такой воды — без горечи, без соринки и «ломающего зубы холодка», которые любил граф Толстой и от которого морщатся и хватаются за зубы наши НАЧГЛАВ-УПРы».

Чтобы увидеть пьесу на сцене, драматург отказался от гонорара. Все откладывая и откладывая ее выход к зрителю («А бюрократы все читают. Вот измываются!» — П.), в феврале 1960 года пьесу выкинули из репертуара. Нашлась причина: «Грабанами мое «Шуркино де-